

Политика памяти и историческая наука

Алексей Миллер, Ольга Малинова, Дмитрий Ефременко

Politics of memory and historical science

*Alexei Miller (European University in Saint Petersburg, Russia),
Olga Malinova (National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia), Dmitry Efremenko (Institute of Scientific Information
on Social Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow)*

DOI: 10.31857/S086956870001569-6

Начало XXI в. характеризуется резким возрастанием значения и роли политики памяти. Это относительно новое понятие обозначает всю сферу общественных практик и норм, устанавливаемых государством и связанных с регулированием коллективных представлений об истории, акцентированием внимания на одних сюжетах и замалчиванием или маргинализацией других. Речь идёт о коммеморации (ритуальных практиках – сооружении памятников и музеев, отмечании на государственном или местном уровне определённых событий прошлого и т.д.), выплате пенсий ветеранам одних событий и отказе в таких выплатах ветеранам других, регулировании доступа к архивам, определении стандартов исторического образования (того минимального набора сюжетов и фактов, которые учащийся обязан знать), приоритетном финансировании исследований и изданий о тех или иных событиях, явлениях и эпохах. Политика памяти неизбежна – нет обществ, даже племенных, которые так или иначе не регулировали бы эту сферу. По сути, политика памяти является одним из важнейших инструментов формирования идентичности того или иного сообщества.

Историческая политика является частным случаем политики памяти¹. Для неё характерно активное участие властных структур и преследование партийно-идеологических интересов, чем объясняется её зачастую конфронтационный характер. В рамках исторической политики особое место неизбежно занимает официальный нарратив – принятое на государственном уровне видение истории нации. В России после распада СССР задача конструирования национальной истории вышла на первый план². И прежде всего встал вопрос об идентичности – должна ли она считаться «национальной», «гражданской», «имперской», «цивилизационной», «русской», «российской» и т.д.

© 2018 г. А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, Д.В. Ефременко

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

¹ См. подробнее: *Миллер А.И.* Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке. Сборник статей. М., 2012.

² См.: *Малинова О.Ю.* Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические исследования. 2010. № 2; *Малинова О.Ю.* Макрополитическая идентичность // Политическая идентичность и политика идентичности. Т. 1. Словарь терминов и понятий. М., 2012.

Эволюция официального исторического нарратива

Нарратив – сюжетно оформленное повествование, предлагающее связную картину цепи исторических событий – является основным форматом репрезентации прошлого как в историографии, так и в публичном пространстве. Его связность достигается за счёт генеалогического принципа изложения, благодаря чему «события отсылает к каким-то своим будущим последствиям (именно к последствиям, а не к причинам)»³. Исторические нарративы складываются из событий-фрагментов, которые могут быть развёрнуты в самостоятельные сюжетные повествования. В политическом дискурсе, в отличие от профессионального исторического, нарративы прошлого редко имеют развёрнутый вид. Тем большее значение приобретает их соответствие тому, что можно обозначить как «чувство очевидного» реципиентов⁴: связи, подразумеваемые политическим текстом, «прочитываются» аудиторией в той мере, в какой отсылают к уже известным ей сюжетным линиям.

Конструирование нового официального нарратива в постсоветской России предполагает реинтерпретацию событий, игравших ключевую роль в прежнем, советском нарративе, и выстраивание между ними новых связей. Очевидно, что история нашей страны – богатый символический ресурс, однако его не так просто адаптировать к новым обстоятельствам. События, память о которых настойчиво культивировалась в советский период, впоследствии подверглись переоценке. В то же время многое из того, что служило опорой идентичности до Октябрьской революции, в СССР на десятилетия оказалось предано забвению. Формирование постсоветского нарратива предполагало использование разных стратегий: что-то требовалось «вспомнить», что-то попытаться «забыть», что-то увидеть под новым углом. Необходимо также учитывать, что конструирование нарратива, поддерживающего новую идентичность, осложнялось необходимостью совмещения двух разных способов работы с прошлым: «проработки трудного прошлого/коллективной травмы» и консолидации макрополитического сообщества.

Общественный интерес к прошлому стал наиболее интенсивен в СССР в период перестройки, отчасти потому, что через обсуждение исторических сюжетов артикулировались политические позиции, которые долгое время невозможно было заявить открыто. Идиоматический язык перестройки – «выбор исторического пути», «историческая альтернатива» и т.д. – в большой степени заимствован из лексикона историков⁵. Обсуждение «белых пятен», связанных с преступлениями коммунистического режима, прежде всего сталинизма, даже публичное произнесение ранее запретных применительно к СССР слов «империя» и «тоталитаризм» – всё это имело очевидное политическое значение.

Политика памяти в постсоветской России изначально представляла собой «поле битвы», на котором сталкивались не просто соперничающие идеологические интерпретации ключевых исторических событий, но принципиально разные культурные модели работы с прошлым. С одной стороны, продолжалось начатое в период перестройки переосмысление, связанное с «ликвидацией белых пятен» и осознанием «человеческой цены» того, что ранее представлялось в качестве достижений. Такая политика памяти вписывается в модель «проработки трудного прошлого/коллективной травмы», которую с большим или меньшим успехом осваивают многие страны, получившие в наследие от бурно-

³ Зенкин С. Критика нарративного разума // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.

⁴ Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. Vol. 38. 1999. № 2.

⁵ См.: Athashev T. Transformation of the Political Speech under Perestroika. Free Agency, Responsibility and Historical Necessity in the Emerging Intellectual Debates (1985–1991). PhD Dissertation. Florence, 2010.

го и трагического XX в. «память» о гражданских войнах, массовых репрессиях, этнических чистках, геноциде и иных преступлениях против человечности. Эта модель связана с дискурсом о «преступлении и травме», с «устранением причиняющей боль асимметрии памяти» жертв, с разоблачением и осуждением преступников и, в конечном счёте, с поисками примиряющего нарратива, позволяющего противоборствующим сторонам «включить своё противоположное видение событий в общий контекст более высокого уровня». Реализация этой программы сопряжена с очевидными рисками: ведь «травма — в отличие от героического нарратива — не мобилизует и не консолидирует, а нарушает и даже разрушает идентичность»⁶. И хотя успех в деле критической «проработки прошлого» может оказаться фактором, сплачивающим нацию, далеко не всем обществам удаётся последовательно проводить этот курс. Тем не менее, как свидетельствует опыт Германии, Франции, Испании, Австрии и других стран, «проработку трудного прошлого» можно отложить, но нельзя отменить. В постсоветской России эта задача до сих пор остаётся актуальной, и властвующая элита не может её игнорировать, поскольку существует достаточно влиятельная коалиция общественных сил, настаивающих на выполнении программы «десталинизации». Кроме того, жёсткая позиция отказа от критической проработки прошлого неизбежно будет использована международными контрагентами для подрыва репутации России.

С другой стороны, после распада СССР возникла необходимость конструирования исторического нарратива, способного служить основанием новой макрополитической идентичности. В российском случае эта типовая задача политики памяти, во многих странах решавшаяся ещё в процессе нацистского строительства, осложняется тем, что речь идет о «выкраивании» истории «нации» для сообщества, выступающего наследником ядра империи (даже двух империй). Усугубляет ситуацию отсутствие определённости с прочими элементами конструируемой идентичности (в частности, оснований идентификации и символических/географических границ сообщества). Вместе с тем политика памяти, направленная на консолидацию нации, имеет определённую логику: в таких случаях основной упор делается на событиях и символах прошлого, укрепляющих положительные представления нации о себе⁷. Полезным «строительным материалом» оказывается «память» о былых победах, ключевых вехах строительства государства, научно-технических достижениях, вкладе соотечественников в сокровищницу мировой культуры и т.п. Наглядной иллюстрацией могут служить памятники государственным деятелям, полководцам, героям и деятелям культуры, установленные в столицах разных стран мира. В некоторых случаях целям нацистского строительства с успехом служат и символы былых поражений, но для многосоставных наций, подобных российской, данный вариант не подходит⁸.

У описанных моделей политики памяти разные задачи и разные механизмы. Первая модель является ответом на «асимметрию памяти», вызванную принудительным «забвением». Она прорабатывает наследие «преступления и травмы», которое разделяет общество и побуждает испытывать скорбь, гнев, стыд и иные сложные чувства. Вторая модель, напротив, нацелена на сплочение вокруг наследия прошлого, которым можно гордиться. Обе модели построены на «вспоминании» и «забвении», но осуществляют их на свой лад.

⁶ *Ассман А.* Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М., 2014. С. 69, 72.

⁷ *Smith A.D.* Myths and Memories of the Nation. Oxford, 1999; *Coakley J.* Mobilizing the Past: Nationalist Images of History // *Nationalism and Ethnic Politics*. 2007. Vol. 10. № 4; *Каспэ С.И.* Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М., 2012.

⁸ *Mock S.* Symbols of Defeat in the Construction of National Identity. N.Y., 2012.

В 1990-х гг. российская идентичность конструировалась на основе новых, «демократических» ценностей, ориентиром для которых служил идеализированный «опыт Запада». Легитимация политического курса Б.Н. Ельцина опиралась на исторический нарратив, в котором сочетались обе описанные выше модели политики памяти. Первый президент Российской Федерации и его соратники использовали перестроечный дискурс для обоснования критического нарратива, мобилизующего на «демонтаж тоталитарного порядка»⁹. Формально разделяя цели сторонников «проработки прошлого», элита ставила во главу угла не столько преодоление «асимметрии памяти», сколько оправдание собственного курса и конструирование идентичности макрополитического сообщества на новых принципах. Стержнем этой конструкции служила критика советского опыта, отношение же к дореволюционной истории было более сложным.

В основе нарратива лежала идея «новой России», порвавшей с негативным наследием как советского, так и имперского периода. Вспоминая о прошлом, Ельцин часто прибегал к противопоставлениям («За всю тысячелетнюю историю России культура и её деятели не имели столько свободы творчества и политической независимости, как теперь»¹⁰; «Россия хорошо знает, что такое право силы. Осознать силу права только предстоит»¹¹; и т.п.). В то же время нельзя игнорировать стремление власти утвердить преемственность исторического развития, преодолеть «разрыв 1917 года». Показательны принципиальные изменения в геральдике – имперский двуглавый орел сочетался с трёхцветным неимперским флагом. В тексте, который актёр О.В. Басилашвили читал на инаугурации Ельцина 10 июля 1991 г., говорилось о святом равноапостольном князе Владимире, преподобном Сергии Радонежском, Петре Великом и Екатерине II. Также говорилось о «событиях 1917 года», но практически не упоминался советский период.

Критический нарратив нашёл отражение не только в текстах, но и в практических действиях (переименование топографических объектов, демонтаж памятников, изменение официальных ритуалов, трансформация старых советских праздников и проч.). Мы располагаем документом, в котором он излагается весьма подробно и обстоятельно. В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся избирательной кампании, Ельцин включил в своё ежегодное послание Федеральному собранию РФ большой фрагмент, посвящённый истории XX в. Призывая соотечественников найти верную шкалу оценки событий 1990-х гг., он пытался оправдать распад СССР и объяснял тяготы реформ необходимостью выживания после краха коммунистического проекта, «не выдержавшего испытания на большой исторической дистанции». Президент крайне негативно характеризовал предложенную большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель развития» и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: по оценке Ельцина, «превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счёт колоссальных людских потерь». Критически оценивая прежние политические режимы, он представлял фактором преемственности истории не государство, а народ, «сумевший сохранить,

⁹ Эта формулировка имела отчётливую коннотацию с западной идеологией времён холодной войны.

¹⁰ Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию РФ: «Об укреплении Российского государства». 1994 (URL: http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html).

¹¹ Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию РФ: «О действительности государственной власти в России». 1995 (URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html).

несмотря ни на что, свои лучшие национальные черты и качества»¹². Великая Отечественная война вписывалась в новый нарратив как подвиг народа, совершённый не благодаря советскому строю, а вопреки ему. Такая интерпретация соединяла «героизм» и «травму», благодаря чему конструкция оказывалась не только достаточно гибкой, чтобы вместить «трудное прошлое», но и могла служить хорошей основой «гражданского патриотизма».

В то же время во второй половине 1990-х гг. произошла частичная корректировка символической политики: на смену радикальному отрицанию «тоталитарного прошлого» пришла установка на «примирение и согласие». Она отчётливо проявилась после выборов 1996 г. (приглашение к разработке «национальной идеи», переименование 7 ноября в День согласия и примирения, история с перезахоронением останков членов царской семьи и др.), однако первые признаки нового подхода обозначились уже во время подготовки к празднованию 50-летия Победы. Именно тогда были заложены основы современного ритуала (ежегодные военные парады на Красной площади, красное знамя Победы в качестве официального символа и др.). Однако эти «уступки» не помогли Ельцину и его соратникам полностью подавить «народно-патриотическую оппозицию», чей контрнарратив являлся частично трансформированной советской исторической концепцией.

Критический нарратив оказался не слишком эффективным инструментом консолидации макрополитического сообщества. Наряду с символической политикой, свою роль здесь сыграли «качество» разработанной смысловой конструкции, а также практика её «применения». С одной стороны, нарратив 1990-х гг. плохо справлялся с задачей формирования позитивного образа, относя «хорошие времена» в неопределённое будущее. Такая смысловая конструкция вряд ли могла удовлетворить потребности общества, переживавшего травму распада СССР и масштабной постсоветской трансформации. С другой стороны, политика идентичности не отличалась последовательностью и настойчивостью: властвующая элита не только не стремилась укоренить «демократические» ценности в отечественной либеральной традиции, но и не занималась систематически формированием «инфраструктуры» памяти о ключевых событиях новейшего периода, которые подкрепляли бы концепцию «новой России».

К началу 2000-х гг. сложилась коалиция политических сил, выступавших за переход к конструированию национального нарратива. В неё входили не только представители лево-патриотического крыла, но и центристы-«державники», которые не были апологетами советского режима, но полагали, что государство должно заботиться о повышении коллективной самооценки сограждан. Высокий уровень поддержки В.В. Путина, достигнутый в первые же месяцы его пребывания на посту президента, в значительной степени обусловлен тем, что он ответил на этот запрос. В отличие от своего предшественника он не был связан принадлежностью к идеологическим лагерям 1990-х гг. и мог позволить себе использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Первым конструктивным действием в этом направлении стало решение вопроса о государственной символике. Оно поначалу показалось многим критикам механическим соединением несоединимого – радующего традиционалистов византийского двуглавого орла, удобного либералам петровского триколора и ласкающей слух коммунистов мелодии сталинского гимна. Но вскоре обнаружилось, что всё «срослось», что эклектичный синтез символов принят практически все-

¹² Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». 1996 (URL: http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html).

ми. И, разумеется, сам этот синтез был символичен, указывая на волю власти не к дистанцированию от прошлого, но к подчёркиванию преемственности в отношении всех периодов истории российской и советской государственности.

Смысловым стержнем нового официального нарратива стала проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России идея великодержавности. Именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) выступает в качестве ключевой ценности, скрепляющей макрополитическую общность. Идея «сильного государства» как основы былого и будущего величия России была сформулирована в 2003 г., когда Путин назвал «поистине историческим подвигом» граждан России «удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире»¹³. Идея «тысячелетней России», сложившейся в великое государство, способное завоевать «сильные позиции в мире», стала стержнем исторической политики.

Новая смысловая схема коллективного прошлого оформлялась постепенно. Решительный разрыв с прежним нарративом произошёл лишь в начале второго президентского срока Путина, когда в послание Федеральному собранию РФ были включены известные слова о распаде СССР как «крупнейшей геополитической катастрофе века»¹⁴, которые противоречили оценке, многократно озвученной Ельциным («Советский Союз рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, разорванный на куски экономическими, политическими и социальными противоречиями»¹⁵). Интерпретация распада СССР (который *de facto* стал началом нового этапа истории Российского государства) как случайной катастрофы¹⁶, спровоцированной действиями злонамеренных политиков, прекрасно вписывалась в концепцию «тысячелетней» великой державы. Однако она полностью противоречила прежнему нарративу, который представлял крах «тоталитарного» коммунистического режима как историческую необходимость и описывал выбор 1990-х гг. как изменение траектории развития.

«Реабилитация» советского в официальной символической политике происходила избирательно: наиболее одиозные моменты исключались из репертуара «используемого» прошлого. В выступлениях Путина и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема «трудного прошлого» практически перестала быть частью официального нарратива. История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая, несмотря на все трудности, смогла осуществить модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Оформилась политика, «направленная на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого «советское», будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого... культурного наследия»¹⁷.

При всех принципиальных различиях у политик памяти 1990-х и 2000-х гг. была одна общая особенность: официальный нарратив, озвучиваемый первыми лицами и «прочитываемый» в решениях федеральной власти, не дополнялся

¹³ Путин В.В. Послание Федеральному собранию РФ. 2003 (URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21998>).

¹⁴ Путин В.В. Послание Федеральному собранию РФ. 2005 (URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931>).

¹⁵ Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе». 1996.

¹⁶ См.: Ефременко Д.В. Нормальная катастрофа. Ещё раз об исторических развилках 1980–1990-х годов // Прошлый век. Сборник научных трудов. М., 2013.

¹⁷ Kalinin I. Nostalgic Modernization: the Soviet Past as 'Historical Horizon' // Slavonica. Vol. 17. 2011. № 2. P. 157.

целенаправленной реконструкцией «инфраструктуры» коллективной памяти. Предлагая концепцию «новой России», Ельцин и его соратники не сумели подкрепить её политическими ритуалами, праздниками, эмоционально насыщенными «изобретёнными традициями», закрепляющими «вехи» новейшей истории. Характерным примером может служить создание Ельциным комиссии для поиска национальной идеи. Её деятельность не дала результатов, а вскоре, в августе 1998 г., экономический и политический кризис отодвинул эти усилия на периферию внимания власть предержащих. Более или менее систематический характер эта работа начала обретать уже при «новом режиме», особенно с того момента, как соответствующую тематику в Администрации президента РФ стал курировать В.Ю. Сурков. Но и путинская элита, сделав выбор в пользу «тысячелетней России», уделяла удивительно мало внимания насыщению новой конструкции узнаваемыми символами. Анализ тематического репертуара памятных речей¹⁸ Путина и Медведева показывает, что основным «поставщиком» поводов для обращения к прошлому остаётся история советского периода, причем около трети выступлений посвящены Великой Отечественной войне. Единственным казусом «изобретения традиции», связанной с «тысячелетним прошлым», оказалось учреждение в 2004 г. Дня народного единства (насколько успешным стал этот проект – предмет для отдельного разговора). Очевидно, что «инфраструктура» коллективной памяти, доставшаяся по наследству от СССР, не могла служить хорошей опорой концепции «тысячелетней России», поскольку выстраивалась под нарратив, который весьма критически «препарировал» отечественное прошлое. Однако властвующая элита не предпринимала особых усилий для связывания воедино весьма эклектической концепции, предпочитая обходиться позитивными символами уже актуализированного прошлого.

Лишь после избрания Путина на третий срок ситуация начала меняться. Тем не менее попытки выстраивания связного нарратива пока приносят неоднозначные результаты. С одной стороны, речь идёт об укреплении апологетической концепции истории, которая рассматривается как «идеологическое оружие» в борьбе с внешними и внутренними врагами. Это создает угрозу возвращения к политике подавления «памятей», не вписывающихся в официальную трактовку, которая имела место в СССР. С другой стороны, связывание нарратива инициирует новый раунд дискуссий, что открывает определённые окна возможностей и для решения задач, связанных с «проработкой трудного прошлого».

Политика памяти в странах Европейского Союза: вызов и ответ

Сильным катализатором политики памяти стала активизация в начале XXI в. в странах Восточной Европы исторической политики, главной мишенью которой была Россия. В результате в первой половине 2000-х гг. власть начала активно заниматься политикой памяти и задавать тон в этом процессе.

Для понимания значимости внешних вызовов необходимо учитывать, что в течение послевоенных десятилетий фундаментальным фактором политики памяти была изолированность процессов на капиталистическом «западе» и коммунистическом «востоке». В 1960–1990-х гг. страны Западной Европы постепенно выработали определённый консенсус, стержнем которого стала общая ответственность за мрачные страницы прошлого. Конечно, мотивы собственных страданий играли важную роль в коллективной памяти народов, входивших в ЕС до его расширения в 2004 г., а признание ответственности было избирательным. Так, в вопросе о роли европейцев в колониализме и ра-

¹⁸ Речи, произносимые по поводам, связанным с историческими событиями – по праздникам, юбилеям и проч.

боторговле мы не найдем того единодушного покаяния, которого удалось достигнуть в отношении Холокоста. Однако достигнутый консенсус сам по себе оказался очень значимым. Он сделал невозможным построение в этой части Европы национальных исторических нарративов, в которых главной жертвой выступала бы собственная нация. Невозможно было требовать для себя преференций, ссылаясь на прошлые страдания. В центре внимания оказывались проблема собственной ответственности и необходимость предотвратить преступления, подобные Холокосту, в будущем. «Старые» страны-участники ЕС смогли прийти к согласию отчасти потому, что последние десятилетия XX в. оказались для них весьма успешными в экономическом и политическом плане. Глядя с уверенностью и оптимизмом в будущее, думая о глобальной лидерской роли Евросоюза, им было легче договориться о совместном покаянии за грехи прошлого.

После падения коммунизма сконструировать национальные нарративы по своему усмотрению получили возможность почти все страны бывшего соцлагеря. Единственным исключением стала ГДР, которой в ходе поглощения Западной Германией предписывалось принять нарратив, сформированный в ФРГ. Преподаватели истории прежнего режима были практически поголовно уволены, а концепция, возлагавшая вину за преступления нацистов на капитализм и объявлявшая главными жертвами коммунистов, сдана в архив. В остальных же странах роль пострадавших оказалась зарезервирована для титульной нации, а трактовка истории сфокусировалась на страданиях от коммунистического угнетения. Причём коммунизм представлялся как сугубо внешнее, «московское» зло. Страны Восточной Европы включились в «поиски потерянного геноцида»¹⁹.

Помимо тематических музеев, в них создавались институции, существенно отличавшиеся от тех, которые характерны для Западной Европы. Польский Институт национальной памяти (ИНП) был учрежден в 1998 г. вместо Комиссии по расследованию преступлений против польского народа. Образцом, по официальной версии, послужила «комиссия Гаука» в Германии, которая занималась обеспечением сохранности архивов служб безопасности ГДР и организацией доступа к ним исследователей и обычных граждан²⁰. На деле, однако, сходство оказалось весьма отдалённым. Помимо опеки над архивами спецслужб ИНП занимается преследованием лиц, причастных к преступлениям коммунистического режима, для чего в его штате числится 26 прокуроров. С 2006 г. Институт также занимается люстрацией. Изначально он насчитывал 800 сотрудников, но теперь их уже более двух тысяч, а бюджет увеличился втрое. Историки, занятые в его исследовательских подразделениях, имеют статус госслужащих и получают существенно более высокую зарплату по сравнению с сотрудниками Академии наук и университетов. ИНП является главным игроком на рынке специальной и популярной печатной продукции об истории, опубликовав более 600 томов материалов и издавая под своей эгидой три популярных журнала. Это во многом объясняет, почему сторонние исследователи сталкиваются с серьёзными проблемами в доступе к архивам, находящимся в ведении Института — работники ИНП видят в них нежелательных конкурентов.

Термин «историческая политика» Польша в 2004 г. заимствовала из Германии, когда несколько интеллектуалов выступили в печати с призывом вы-

¹⁹ Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов»: историческая политика и международная политика в Восточной Европе после 1989 г. // Историческая политика в XXI веке...

²⁰ Официальное название «комиссии Гаука» — Ведомство Федерального уполномоченного по документам Государственной службы безопасности бывшей Германской демократической республики (Die Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik).

работать и энергично проводить патриотическую «историческую политику»²¹. Но он не просто утратил то сугубо негативное значение, которое имел с 1980-х гг.²², а стал знаменем агрессивного инструментального подхода к прошлому. В посткоммунистических странах историческая политика превратилась в оружие борьбы на внутри- и внешнеполитическом фронте. Понятие «историческая политика» теперь используется здесь преимущественно в «польском» варианте.

В 2008 г. западноевропейские историки, а также некоторые их коллеги из Восточной Европы, подписали «Воззвание из Блуа» (Appel de Blois), в котором говорилось: «История не должна становиться служанкой политической конъюнктуры. Её нельзя писать под диктовку противоречащих друг другу мемуаристов. В свободном государстве ни одна политическая сила не вправе присвоить себе право устанавливать историческую истину и ограничивать свободу исследователя под угрозой наказания. Мы обращаемся к историкам с призывом объединить силы в их собственных странах, создавая у себя организации, подобные нашей, и в ближайшее время лично подписать наш призыв, чтобы положить конец сползанию к государственному регулированию исторической истины. Мы призываем политических деятелей отдать себе отчёт в том, что, обладая властью воздействовать на коллективную память народа, вы, тем не менее, не имеете права устанавливать законом некую государственную правду в отношении прошлого, юридическое навязывание которой может повлечь за собой тяжёлые последствия — как для работы профессиональных историков, так и для интеллектуальной свободы в целом. В демократическом обществе свобода историка — это наша общая свобода»²³.

Воззвание появилось в ответ на обозначившуюся склонность западноевропейских парламентов законодательно определять интерпретации исторических событий. Однако с того момента «законы о памяти» приняли все восточноевропейские страны. И только в одной стране — Румынии — было запрещено оправдание собственных преступников периода Второй мировой войны. Практически везде такого рода законодательные акты криминализируют не отрицание преступлений, совершённое представителями собственной нации, но возражения против определённых интерпретаций страданий собственного народа.

Украина в течение ряда лет являлась ареной «войны памятников», которые взрывали и опрокидывали сторонники разных политических партий. «Ленинград» 2014 г. стал кульминацией этого процесса, ход которого и силы, принявшие в нём участие, заслуживают отдельного обсуждения. Однако первый памятник был разрушен сторонниками партии «Свобода» в Киеве ещё в декабре 2013 г. Они же, окрылённые успехом, 1 января 2014 г. прошли по улицам столицы с факельным шествием в честь дня рождения С. Бандеры. В шествии приняли участие более 10 тыс. человек. Эти события принципиально изменили символическую природу Майдана. С тех пор стало практически невозможно обратиться к собравшимся на площади без лозунга, унаследованного от бандеровского движения: «Слава Украине! — Героям слава!» Некоторые участники Майдана пытались «перезагрузить» его смысл, но борьбу за олицетворение движения выиграл радикальный национализм неонацистского типа.

Украинский Институт национальной памяти должен был, согласно постановлению Кабинета министров от 31 мая 2006 г., разрабатывать предложения по «восстановлению объективной и справедливой истории украинского народа», «пропаганде давности происхождения украинской нации и её языка», определять «направления и методы восстановления исторической правды

²¹ См. статьи А.И. Миллера, Р. Трабы, Д. Столи в кн.: Историческая политика в XXI веке...

²² Оговоримся, что в 1990-е гг. отдельные исследователи использовали понятие «историческая политика» как аналитическую, ценностно нейтральную категорию.

²³ Appel de Blois (URL: http://www.concernedhistorians.org/content_files/file/to/162.pdf).

и справедливости в изучении истории Украины»²⁴. Логично в этой связи, что ведущую роль в Институте с момента его основания играет В. Вятрович, ставший в 2014 г. его директором. Он получил известность в 2006 г. своей книгой, в которой доказывалось, что Украинская повстанческая армия (УПА) во время войны спасала евреев от нацистов, а затем упрочил репутацию книгой, в которой доказывал, что резня польского населения Волыни отрядами УПА была частью «второй польско-украинской войны 1942–1947 годов», в которой украинцы оказались в большей степени жертвами, чем преступниками²⁵. В 2014 г. Вятрович разработал четыре новых закона, которые должны регулировать политику памяти на Украине. Они были в спешном порядке приняты в апреле 2015 г.²⁶

По всей Восточной Европе успешно осуществлён «экспорт вины», что находится в кричащем противоречии с прежней европейской культурой памяти, постепенно приучавшей людей думать о собственной ответственности. Более того, восточноевропейская политика памяти, сосредоточенная на собственных страданиях, предъявила претензии и самому Западу – за предательство малых наций Европы, «похищенных» коммунистической Москвой. Этот мотив был сформулирован ещё в начале 1980-х гг. в знаменитой статье М. Кундеры «Похищенный Запад, или трагедия Центральной Европы»²⁷, которая познакомила американскую и западноевропейскую общественность с концепцией Центральной Европы²⁸.

После обретения независимости элиты новых государств с политической точки зрения вполне рационально стремились предотвратить возможность нового соглашения между ведущими государствами Запада и Россией, при котором могли бы пострадать их интересы. Для этого они старались повысить «цену» такого шага для западноевропейских лидеров, выстраивая определённую политику памяти и заключая на этой основе союзы с различными силами внутри ЕС. Эта стратегия, наиболее настойчиво проводившаяся балтийскими республиками²⁹, получила поддержку таких заслуженных диссидентов-президентов, как Л. Валенса и В. Гавел, а также западноевропейских политиков из числа бывших маоистов и троцкистов, дрейфовавших вправо по политическому спектру – от министров иностранных дел ведущих стран ЕС Й. Фишера и Б. Кушнера до интеллектуалов Д. Кон-Бендита или А. Глюксмана.

Экзистенциальные страхи были присущи восточноевропейским элитам в течение всего XX в. И. Бибо блестяще описал этот феномен в своей работе 1946 г. «О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств»³⁰. Даже вступив в НАТО и ЕС, они не преодолели эти комплексы. Ключевым элементом соответствующих нарративов стала Россия как источник угрозы. В европейской традиции эта тема имеет глубокие корни: взгляд на Россию как на «варвара у ворот» доминировал в европейской мысли в течение последних

²⁴ Правительство создало Украинский институт национальной памяти (URL: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/printable_article?art_id=38654277).

²⁵ Вятрович В.М. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006; Вятрович В.М. Друга польсько-українська війна. 1942–1947. Київ, 2011.

²⁶ Подробно см.: Himka J.-P. Legislating Historical Truth: Ukraine's Laws of 9 April 2015 (URL: <http://net.abimperio.net/node/3442>).

²⁷ Kundera M. Un Occident kidnappé, ou la tragédie de l'Europe centrale // Le Débat. Vol. 5. 1983. № 27.

²⁸ Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Независимое литературное обозрение. 2001. № 52 (URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html>).

²⁹ Астров А. Историческая политика и «онтологическая озабоченность» малых центрально-европейских государств (на примере Эстонии) // Историческая политика в XXI веке...

³⁰ См.: Бибо И. О смысле европейского развития и другие работы. М., 2004.

трёх веков, иногда уступая место, а чаще сочетаясь с концепцией России как «вечного подмастерья». На базовые механизмы этого дискурса мало повлиял распад СССР: «Нет смысла рассуждать о конце деления на Восток и Запад в европейской истории после окончания холодной войны. Вопрос не в том, будет ли Восток использоваться для формирования новых европейских идентичностей, а в том, как это будет делаться»³¹.

В XXI в. в результате взаимодействия западно- и восточноевропейской «культур памяти» произошла радикальная трансформация европейской политики памяти в целом. Сегодня можно говорить о том, что именно «восточная» модель, сфокусированная на собственной мартирологии и мотиве экзистенциальной угрозы, одержала верх над «западной», в которой главную роль играла тема собственной вины и ответственности. Отчасти это связано с тем, что элиты ведущих западноевропейских стран по разным причинам не считали нужным входить в конфронтацию с новыми членами ЕС по этой проблеме. Отчасти объяснение нужно искать в том, что за последние десять лет уверенность в себе и в успешности ЕС как проекта интеграции оказалась поколеблена и в «старой Европе». Отчасти возрастание напряжения в отношениях между Россией и соседями было осмыслено на Западе в соответствии с восточноевропейскими механизмами коллективной памяти и конструирования идентичности.

Сегодня можно говорить и о долгосрочных последствиях такого сдвига. Расширение Европейского союза в 2004 г., по сути, похоронило надежды на то, что консенсус о прошлом может стать фактором дальнейшей консолидации³². Политика и, шире, культура памяти, оказались не клеем, а растворителем, который разъедает единство ЕС. Это воздействие могло игнорироваться, пока само объединение рассматривалось как уникальный пример политически успешного интеграционного проекта. Однако после Brexit'a неизбежна масштабная перегруппировка сил, причём наиболее вероятный её сценарий – «Европа разных скоростей». Можно ожидать, что политика памяти станет весьма эффективным инструментом дивергенции.

Однако и это ещё не всё. Восточноевропейские механизмы коллективной памяти, «подмявшие» под себя европейскую политику памяти, при их дальнейшем распространении на Восток порождают новую напряжённость, вступая в конфликт как с конструируемой в России идентичностью, так и с идентичностями, восходящими к советскому времени. Украина в данном случае становится основным полигоном такого конфликта идентичностей. В зависимости от радикальности действий украинского «политикума» в сфере конструирования «постмайданной» идентичности, а также от шагов в сферах языковой и региональной политики, можно ожидать дальнейшего усиления социальной и политической напряжённости в этой стране.

Политика памяти как проблема междисциплинарного исследования

Политику памяти можно рассматривать как систему взаимодействий и коммуникаций в политическом использовании прошлого, в которой профессиональное историческое сообщество играет одну из важнейших ролей. Это система с внутренней рефлексией, причём учёные оказываются в двойственной позиции актора и рефлектирующего наблюдателя. Соответственно, сама политика памяти оказывается объектом междисциплинарного научного анализа, который способен воздействовать на дальнейшее развитие своего объекта. Для историков, политологов, исследователей международных отношений, культу-

³¹ Нойманн И. Использование Другого: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2003.

³² Was hält Europa Zusammen? // Translit. Europäische Revue. 2004. Heft 28.

рологов, социологов и социальных психологов принципиально важно отслеживать эволюцию официального нарратива, выявлять факторы, воздействующие на его динамику, анализировать другие значимые компоненты.

Исследования в области политики памяти уже оформились в особое междисциплинарное научное направление. До недавнего времени оно концентрировалось на четырёх основных темах. Первая — использование прошлого при формировании национальных и региональных идентичностей. Вероятно, наиболее известным проектом в этой сфере явилось исследование «мест памяти» во Франции³³. Вторая фокусировалась на памяти о колониализме, что нашло отражение в постколониальных исследованиях, особенно активных в США, Западной Европе и бывших заморских колониях Британии и Франции. Третья — изучение темы «проработки проблематичного прошлого» в XX в. Первоначально фокус был почти исключительно на Германии и Японии — по определению Нюрнбергского и Токийского трибуналов главных преступников периода Второй мировой войны. Начиная с 1980-х гг. вопросы нацистского прошлого, коллаборационизма и участия в Холокосте стали активно обсуждаться в других странах Европы. Параллельно шёл процесс изучения механизмов «проработки прошлого» политологами, историками, социологами. К этому направлению примыкает огромная литература, посвящённая Холокосту и памяти о нём. Четвертая тема: проблемы политики памяти в контексте *transitional justice* — восстановительного правосудия, направленного на преодоление последствий систематических нарушений прав человека, как правило в процессе трансформации авторитарных режимов.

Начиная с 1980-х гг. появляется всё больше исследований международных взаимодействий по проблемам прошлого в Восточной и Юго-Восточной Азии, связанных, прежде всего, с преступлениями японского милитаризма в Китае и Корее, а также литература о политике памяти в поставторитарных режимах Юга Европы и Латинской Америки, ЮАР, в странах, ставших жертвами межэтнических конфликтов. Случай российской политики памяти имеет как очевидную специфику, так и многочисленные пересечения со всеми перечисленными.

Примечательно, что, несмотря на наличие очевидных связей между политикой памяти в разных странах, подавляющее большинство исследований сконцентрированы на анализе отдельных примеров. В лучшем случае опыт разных стран (как правило двух-трёх) сравнивается в рамках описанных выше кластеров. С одной стороны, это можно объяснить тем, что в каждом конкретном случае складывается особая комбинация факторов, способствующих политической актуализации прошлого. С другой стороны, необходимо учитывать и кумулятивные эффекты «историзации» политики как глобальной тенденции. Во-первых, опыт политической работы с прошлым поддаётся переносу и иногда начинает восприниматься как норма, к которой апеллируют участники дискуссий в других странах. Во-вторых, конфликты «памятей» нередко имеют международный характер. В-третьих, все описанные выше факторы так или иначе влияют на изменение ментальных «систем координат», в которых укоренены современные политические практики. Таким образом, налицо дефицит сравнительных исследований, рассматривающих политику памяти не только в региональном, но и в глобальном измерении.

Сравнительный анализ политик памяти затрудняется тем, что взаимодействия акторов происходят в исторически уникальных контекстах, что затрудняет построение типологий, позволяющих различать общее и особенное. На наш взгляд, эта проблема может быть преодолена путём разработки на основе метода качественного сравнительного анализа методологии сравнительно-

³³ Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Пюижез Ж., Винок М. Франция-память. СПб., 1999.

го исследования структуры взаимодействий, образующих российскую политику памяти, с теми структурами, в которых функционировала политика памяти других стран. Это позволит не только лучше понять типологические особенности отечественной политики, но и выработать рекомендации по её оптимизации с учётом чужого опыта.

Хотя круг акторов политики памяти не вызывает особых разногласий — обычно к их числу относят политические партии и отдельных ведущих политиков, СМИ, специальные институты, занимающиеся памятью и коммеморацией, музеи, различные общественные организации, и т.п., — исследования, рассматривающие её как процесс взаимодействия разных акторов в публичном пространстве, сравнительно редки. В лучшем случае объектом анализа становятся соперничающие нарративные стратегии. Принимая подход, фиксирующий внимание исследователя на ролях разных акторов политики памяти и их взаимодействиях, нельзя не заметить, что политика памяти не существует изолированно от других аспектов того, что П. Бурдьё назвал символической борьбой³⁴: она связана с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве. Способы репрезентации прошлого обусловлены доминирующими моделями коллективных идентичностей, проектами желаемого будущего, позиционированием по отношению к «значимым другим» и опираются на общие репертуары смыслов. Поэтому для изучения политики памяти в полной мере могут использоваться подходы, разработанные для анализа символической политики. Наконец, при постановке в центр исследования проблемы взаимодействия различных акторов по вопросам политики памяти имеет смысл рассматривать каждое высказывание в духе подхода, предложенного К. Скиннером³⁵ — как политическое действие, которое должно быть проанализировано с точки зрения адресатов воздействия.

В целом при изучении политики памяти в России и других странах необходимо стремиться к преодолению ограничений, присущих значительной части существующих исследований. В частности, необходимо уделить особое внимание: 1) взаимосвязи внутри- и внешнеполитического аспектов; 2) взаимодействию различных акторов в обоих контекстах с фокусировкой внимания на процессах взаимодействия и взаимовлияния (*entangled history*); 3) разработке методологии сравнительного исследования структур взаимодействий, из которых складывается политика памяти в России, с теми структурами, в которых функционировали политики памяти в других странах и её апробации на материале конца XX — начала XXI в. Роль профессионального сообщества историков и различных экспертных сообществ³⁶ в формировании политики памяти также нуждается в систематическом анализе.

³⁴ Бурдьё П. О символической власти // Бурдьё П. Социология социального пространства. М.; СПб., 2007.

³⁵ Skinner Q. On Performing and Explaining Linguistic Actions // The Philosophical Quarterly. Vol. 21. 1971. № 82; Skinner Q. Some Problems in the Analysis of Political Thought and Action // Political Theory. Vol. 2. 1974. № 3.

³⁶ Подробнее см.: Миллер А.И. Роль экспертных сообществ в политике памяти в России // Политика. 2013. № 4.